



Natalya Fox

Крепость  
вдвоем

# Natalya Fox

## Крепость вдвоем

*<https://litres.ru/74131354>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

1777 год. Российская империя.

Григорий Орлов — герой Чесмы, фаворит Екатерины Великой, человек, чьи руки возвели императрицу на трон и задушили её мужа. Он сломлен опалой, болезнью и призраками прошлого. Его единственная надежда на искупление — тайный брак с юной фрейлиной Екатериной Зиновьевой, его троюродной сестрой.

Но свет не прощает. Императрица гневается. Враг у трона, Потёмкин, жаждет окончательного падения Орлова. Их союз объявляют кровосмесительным, а самих молодожёнов изгоняют из столицы.

В подмосковном Вороново они строят свою крепость — мир, где есть только двое. Но болезнь уже крадёт к Екатерине, а прошлое не отпускает Григория. Ради неё он готов на всё: продать состояние, бежать в Швейцарию, бросить вызов самой смерти.

История о всепоглощающей страсти, которая оказалась сильнее осуждения, сильнее разума и сильнее самой смерти. История, которая из скандальной хроники превратилась в легенду.

# Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# Крепость вдвоем

## Глава

### ПРОЛОГ

*Июнь 1777 года*

Карета Орлова, похожая на чёрный ларец для драгоценностей, который тащили на эшафот, подъезжала к покинутой усадьбе под покровом ранних сумерек. Это было рязанское имение Кораблино, подаренное ему императрицей после Чесмы и давно забытое, — место, заброшенное Богом и начальством.

Каждый толчок по разбитой дороге отзывался в висках тупой болью — вечным спутником с тех пор, как лекари, качая головами, заговорили о «повреждении мозга» после последнего припадка. Григорий Григорьевич стиснул зубы, чувствуя, как предательская дрожь в правой руке усиливается. Эта самая рука, когда-то сгибавшая подковы, сжимавшая эфес шпаги при Цорндорфе, обнимавшая императрицу... Теперь она не слушалась его, как не слушалось и всё в этой жизни.

Он с трудом вывалился из кареты, всем телом опираясь на трость с орловским гербом. Иван, его верный камердинер,

поседевший на его глазах, поспешил подставить плечо.

— Ваше сиятельство, может, передохнёте? Всё готово, успеем.

— Нет времени, старый друг, — прошипел Орлов, и слова вырвались хриплым выдохом. В памяти всплыло письмо, полученное неделю назад от его банкира в Амстердаме — Роговика. Тот предупреждал о странных запросах из Петербурга касательно его заграничных капиталов — тех самых, что помогли когда-то финансировать переворот 1762 года. Теперь же пахло подготовкой к конфискации. Пахло окончательной опалой.

Пока они вполголоса договаривались со священником в притворе, за высокими стрельчатыми окнами окончательно стемнело. Воздух в часовне оказался спёртым и ледяным, пропахшим воском, ладаном и вековой пылью, вьёвшейся в камень, с едва уловимым оттенком тления и сырости. Горстка свечей отбрасывала пляшущие тени на потёртые фрески, а лики святых в золочёных рамах взирали на происходящее с немым, всевидящим укором. Григорий Орлов стоял у алтаря, и ему казалось, что он не живет, чем эти стены, впитавшие за столетия всё — и молитвы, и отчаяние.

Он украдкой, почти крадучись, скользнул взглядом на неё. Екатерина. Его троюродная сестра. Его последняя, отчаянная надежда. В простом тёмном платье, без единого украшения, с гладко зачёсанными волосами, она напоминала призрака, явившегося из иного, чистого мира, в который

ему был заказан путь. Всего полгода назад он впервые увидел её в имении Зиновьевых — юную фрейлину, увлечённо читающую Руссо в заросшем саду. Тогда его, затравленного памятью Ропши и опалой, пронзила её ясность, её спокойный, испытующий взгляд. Теперь он, сорокачетырёхлетний старик, втягивал восемнадцатилетнее дитя в своё падение, в свою гибель.

Её лицо оставалось бледным, но непостижимо спокойным. Лишь тонкие, почти прозрачные пальцы, сжатые в белый замок, выдавали колоссальное внутреннее напряжение. Орлов знал, что она держит в маленьком ридикюле не цветы, а сложенный листок — выдержку из «Эмиля» Руссо, подаренную ему при их третьей встрече: «Истинная страсть сильнее всех условностей». Для неё этот брак был философским идеалом, торжеством чувства над предрассудками. Для него — отчаянной попыткой заткнуть роковой шепот, найти точку опоры в рушащемся мире.

Священник, трясущимися, старческими руками перебирая потрёпанный требник, начал читать молитву. Его голос дрожал и срывался, звучал слабее, чем шёпот Орлова. Старик был из захолустного прихода, и Иван щедро оплатил его молчание и участие. Но деньги не могли купить спокойствие — батюшка поминал не столько Бога, сколько «гнев великой государыни», и его глаза в страхе бегали по тёмным, занавешенным плотной тканью окнам.

«Господи, помилуй, Господи, помилуй...» — бормотал

священник, и каждое слово било по натянутым нервам, как барабанная дробь перед казнью.

Орлов неотрывно смотрел на юный, озарённый свечным светом профиль невесты, и в голове стучало: «Что я творю? Я, чьи руки по локоть в крови, чья слава обратилась в прах, веду к венцу дитя. Я не могу дать ей любви — моё сердце выжжено дотла, как деревня после пугачёвского бунта». В кармане его камзола лежало другое письмо — от Екатерины Великой, датированное 1772 годом, когда Потёмкин окончательно оттеснил его: «Граф Орлов, по слабости здоровья вашего, отставляется от всех дел...» Тогда он в бессильной ярости сжёг оригинал, но сохранил копию — как вечное напоминание о падении с самых высот.

Он предлагал ей лишь опалу, позор и, быть может, прозрачный шанс увидеть в её глазах не ужас, а прощение. Шанс на искупление ропшинского греха. Шанс на искупление того, о чём он не смел говорить даже на исповеди — тёплой, живой плоти под пальцами в ропшинской комнате, захлёбывающегося хрипа задушенного императора...

В памяти вспыхнули другие свечи — ослепительные, тысячи огней, отражавшихся в зеркальных залах Зимнего дворца. Гром оваций после Чесмы, запах пороха и славы. И её властный, покоряющий голос, Екатерины Великой: «Решительно всё в вашу пользу, мой герой...» Теперь он был не героем, а опальным грешником, тайком венчающимся с юной родственницей в полуразрушенной часовне. Это был

не брак, а акт отчаяния утопающего, хватающегося за соломинку. Капитуляция перед призраками и попытка купить у них пощаду ценою этой хрупкой, неземной чистоты.

«Согласна ли ты...» — начал священник, и голос его сорвался на визгливый писк.

«Согласна», — прозвучало тихо, но с такой стальной чёткостью, что Орлов вздрогнул, как от выстрела. В этом одном слове не было ни девичьего трепета, ни радостного волнения. Лишь выстраданная, бесповоротная решимость. Она медленно, будто преодолевая невидимое сопротивление, положила свою ледяную ладонь на его дрожащую руку. Она смотрела прямо перед собой, и в её ясных, как осенняя вода, глазах он читал не слепую веру, а полное понимание. Понимание всей меры его падения и всей бездны жертвы, на которую она идёт. Она знала, что их брак — вызов не только свету, но и самой императрице. Что её ждёт не жизнь в роскоши, а изгнание и одиночество.

Обряд прошёл как в лихорадочном бреде. Кольца — простые золотые обручи, без гравировки, — холодные и чужие, скользнули на тонкие, почти детские пальцы. Орлов почувствовал, как её рука на мгновение ответила на его пожатие — слабо, но уверенно. В этот самый миг где-то в Петербурге, в канцелярии Потёмкина, лежал донос от их родственника, Ивана Зиновьева, с подробным описанием готовящегося «беззакония». Но они ещё не ведали об этом.

Священник, не скрывая облегчения, проскрипел: «Обвен-

чаны». Словно произнёс не благословение, а смертный приговор. В этот момент старый псаломщик, помогавший в алтаре, неловко задел стоящий на аналое требник, и тот с глухим стуком шлёпнулся на каменные плиты пола. Звук удара гулко разнёсся под сводами, заставив всех невольно вздрогнуть.

Григорий Орлов взял её лицо в ладони — впервые позволив себе это прикосновение при всех. Его пальцы, изломанные подагрой и дрожащие от старости, скользнули по её щеке. Она не отшатнулась. Напротив — прикрыла глаза и чуть повернула голову, подставляясь под его ладонь, как цветок под солнце. Этот жест был интимнее любого поцелуя. Он чувствовал, как под его шершавой кожей бьётся её пульс — ровный, молодой, живой. И на мгновение ему показалось, что он держит в руках не девушку, а само время, которое он когда-то предал и которое теперь даёт ему второй шанс.

В углу часовни на грубом столе лежал брачный контракт, составленный нотариусом Шпеером — документ, который должен был стать её щитом в случае его смерти. Все его состояние — имения, капиталы в Амстердаме, знаменитые орловские бриллианты — переходили в её единоличную собственность. Это была не брачная сделка, а последняя воля утопающего.

Но едва они ступили на крыльцо, как из-за угла часовни грянул пьяный, разухабистый гул. Орлов велел Иоанну выкатить бочку с казённым вином и раздать по рублю каждому

мужику из окрестных деревень.

— Гуляйте, ребята, вовсю! — крикнул он, и голос его дрогнул, хотя лицо хранило маску торжества. — Но вы не так счастливы, как я — вот у меня княгиня!

Мужики, не ведая ни о Ропше, ни о придворных интригах, грянули «Многие лета», а бабы сбились в хоровод. Вспыхнули костры, запахло жареным мясом и дёгтем. Екатерина, бледная, но сдержанная, стояла у окна и смотрела на эту стихийную вакханалию. Орлов подошёл и тихо, для неё одной, сказал:

— Они не знают, что мы хороним себя. Но пусть хоть этот вечер будет праздником. Она сжала его руку. В её глазах блеснули слёзы — не от страха, а от понимания цены, которую они платят за этот миг ликования.

— Всё кончено, — хрипло, сдавленно выдавил Орлов, не выпуская ледяной руки жены. Её пальцы слабо дрогнули в его ладони. — Теперь мы в одной клетке. Они не простят нам этого. Ни она, ни свет.

Екатерина повернула к нему лицо. В густой темноте он видел лишь смутные черты и влажный отблеск в её глазах — от слёз или от ночной росы. Ее голос был тверд, но в самом его звучании проскальзывал стальной, надломленный обертоном, которого он никогда раньше не слышал.

— Нет, — тихо, но неотвратимо ясно ответила она. — Теперь мы — крепость.

Он сжал её руку, пытаясь передать всю свою отчаянную

решимость, но его пальцы лишь беспомощно и судорожно сжимались и разжимались, выдавая немощь и страх. Из складок её простого платья донёлся лёгкий, чистый запах лаванды — простая, земная поэзия, незнакомая ему в его мире удушающих благовоний, пороха и крови. В этот самый миг где-то на дороге, ведущей к усадьбе, уже скакал, не щадя коня, гонец — не от императрицы, а от брата Алексея, который пытался их предупредить: «Потёмкин донёс государыне! Люди его уже выехали! Спасайтесь!..»

Он чувствовал под тонкой, почти невесомой кожей её хрупкость и свою собственную отчаянную надежду. Где-то вдали, за чёрными, безмолвными силуэтами спящих деревьев, лежал Петербург — ослепительный, безжалостный, кишащий врагами. И он знал — с первыми лучами солнца начнётся война. Война с императрицей, которую он когда-то на своих плечах возвёл на трон. Война с Потемкиным, занявшим его место подле неё. Война со всем светом, который не простит им этого дерзкого вызова.

Но в этот миг, в гробовой тишине чужого сада, с этой девушкой, что стала его женой и заложницей его искупления, он впервые за долгие годы ощутил не безысходность, а странную, горькую решимость идти до конца. Он медленно, почти с благоговением, прикоснулся к её щеке, и его пальцы, знавшие вес смертоносной стали и жар императрицы, с ужасом и восторгом ощутили хрупкость этой новой жизни, которую он теперь поклялся защищать любой ценой.

Они замерли так, два призрака в ночи, а сзади, в тёмном пролёте двери, догорала и коптила последняя свеча, будто провожая их в новую, полную смертельных опасностей жизнь. И совсем уже близко, у самых ворот усадьбы, послышался яростный, торопливый стук копыт — первый, оглушительный вестник надвигающейся бури, готовой разбить их хрупкую крепость в щепки.

## ГЛАВА 1. ПЕРВАЯ НОЧЬ

Рассвет застал их в карете, мчавшейся проселочными дорогами. Григорий Орлов наблюдал за спящей женой, прижавшейся к нему в изнеможении. Её дыхание было ровным, но в уголках глаз застыла усталость — точь-в-точь как у солдат после кровопролитного боя.

В кармане его камзола лежало не только её брачное кольцо, но и другой документ — письмо Екатерины Великой от 15 марта 1775 года, которое он перечитывал накануне: «Граф! По слабости здоровья Вашего увольняю Вас от военной службы...» Эти строки жгли карман, напоминая, как императрица отстранила его от дел, словно отработанный инструмент.

Он сжал письмо в кармане, и перед глазами встала она — не императрица, а Катя, та самая, что в ночь переворота смотрела на него с таким огнём, что он готов был свернуть горы. Её смех, её руки, сжимающие его плечи, её голос,

который шептал: «Мой герой, мой Гриша». Тогда он верил, что это навсегда. Что они — две половинки одной короны. Но корона оказалась слишком тесной для двоих. И теперь он стоял на пороге новой жизни, понимая: та страсть была пожаром, а эта — тихим светом. И он не знал, что страшнее.

Он припомнил их последнюю встречу в Царском Селе — как она, холодная и отстраненная, вещала о «благодарности за службу», а он видел в её глазах лишь облегчение от расставания.

Карета подпрыгнула на ухабе, и он инстинктивно прижал Екатерину крепче. Всего шесть часов назад они стояли в церкви — теперь были беглецами, как когда-то в 1762 году, когда он мчался с той, другой Екатериной, верша историю.

— Мы далеко? — её голос прозвучал сквозь дремоту.

— До рязанского имения ещё часа три, — ответил он, взглядываясь в заснеженные поля. — Я заранее договорился с доверенным человеком в Москве — все экстренные сообщения будут идти через него.

Он умолчал, что именно в этом имении когда-то останавливался с императрицей — ирония судьбы казалась непереносимой.

Имение встретило их ноябрьским безмолвием. Богатый особняк с колоннадой стоял в глубине ухоженного парка, но чувствовалась странная пустота — будто сама душа дома покинула его. Орлов помнил его иным — полным жизни, когда он приезжал сюда с Екатериной Великой в 1770 году, после

Чесменской победы.

«Вот где мы сможем укрыться от всего света, мой герой», — говорила она тогда, и её смех звенел в этих стенах. Теперь здесь пахло воском и пустотой.

Екатерина Зиновьева молча взирала на свой новый дом. Всего час назад, пока Орлов обсуждал с приказчиком детали их пребывания, она украдкой вытирала слёзы в углу кареты. Но теперь в её глазах читалась не растерянность, а та же решимость, что была у него при штурме турецких редутов.

— Здесь нет роскоши петербургских дворцов, — произнес он, ощущая горечь на языке.

— Я не искала роскоши, — тихо ответила она. — Я искала дом. А дом — это не стены, а души, их населяющие.

Старый приказчик Степан, служивший ещё отцу Орлова, вышел на крыльцо. Его лицо выражало не радость, а страх — новость об опале уже достигла этих мест, и половина слуг разбежалась, забрав с собой всё ценное.

— Ваше сиятельство... не ждали... основные покои запечатаны, ключи у управляющего, который уехал в Москву неделю назад...

— Это теперь дом графини Орловой, — отрезал Григорий. — С этого дня все отчёты — ей.

Он видел, как вздрогнул приказчик — для этих людей он всё ещё оставался тем самым Орловым, что возводил на престол императрицу.

Спальня оказалась ледяной, воздух пропитался сыростью

и лавандовой пудрой — призраком прежней жизни, витавшим в застоявшейся атмосфере. Орлов лежал без сна, вслушиваясь в её дыхание.

Он воскресил в памяти их первую тайную встречу здесь, месяц назад. Тогда она бродила по этим комнатам, касалась пальцами потрескавшейся краски и говорила: «Здесь будет мой сад. Я выращу гвоздики — они пахнут свободой». А он наблюдал за ней и размышлял: «Какую свободу я могу тебе даровать? Лишь свободу разделить мою опалу».

В соседней комнате он слышал, как она плачет — тихо, в подушку, чтобы он не услышал. Это длилось недолго. Потом наступила тишина, а когда она вернулась, её глаза были красными, но сухими.

Внезапно она пошевелилась во сне и бессознательно прильнула к нему. Её рука легла на его грудь — та самая рука, что всего несколько часов назад дрожала в его руке в церкви, но теперь искала в его объятиях спасения от кошмара реальности.

Он лежал без сна, чувствуя тяжесть её головы на своей груди. Её дыхание было ровным, но иногда она вздрагивала во сне, и тогда он инстинктивно прижимал её крепче. В какой-то момент она пошевелилась, и её рука, лежавшая на его камзоле, скользнула выше — к его шее. Пальцы её коснулись пульсирующей жилки на его горле, и он замер. Даже во сне она искала его, тянулась к нему, как к единственному источнику тепла в этом ледяном мире.

Орлов осторожно, боясь разбудить, провёл ладонью по её волосам — гладким, пахнущим лавандой и молодостью. Она что-то прошептала во сне — неразборчиво, но в голосе её звучала улыбка. Он наклонился и поцеловал её в висок — легко, почти невесомо, как целуют икону. Впервые за тридцать лет его губы коснулись женщины не в жажде обладания, а в благоговении.

Тридцать лет он спал один — даже с императрицей их ночи наполняла скорее страсть, нежели нежность. Эта девушка искала в нём не фаворита, не героя, но просто человека.

В дверь постучали. Вошёл Иван с серебряным подносом — на нём покоилась засохшая гвоздика и смятый листок.

— От доктора Роджерсона, ваше сиятельство. Курьер скакал сменными лошадьми по заранее оговорённому маршруту через Москву. Сказывает, помнит ваше расположение и предупреждает — в Петербурге уже осведомлены.

Орлов развернул записку. Почерк лейб-медика Роджерсона, того самого, что лечил его после Чесмы, был узнаваем: «Григорий Григорьевич! Спешу предупредить — сегодня утром Мамонов докладывал Императрице. Говорят, приказ об аресте уже готов. Ваш старый друг предупреждает — бегите, пока не поздно. Роджерсон».

Он вспомнил, как десять лет назад спас карьеру молодого шотландского врача, когда тот оказался замешан в придворном скандале. Теперь доктор возвращал долг.

Он неспешно подошёл к камину и швырнул записку в

огонь. Пламя жадно поглотило бумагу, словно некогда поглощало его славу.

— Что стряслось? — тихий голос заставил его обернуться.

Екатерина стояла в дверях, закутавшись в простой шерстяной платок. Её лицо побледнело, но в глазах читалась не растерянность, а та самая ясность, что поразила его при первой встрече.

— Ничего существенного, — солгал он, ощущая тяжесть неправды.

— Вы из рук вон плохо лжёте, Григорий Григорьевич, — она приблизилась. — Мы ведь договорились — никаких тайн. Или вы полагаете, что я не выдержу правды?

Орлов смотрел на неё и думал: «Два месяца назад она была бедной родственницей, а ныне предстаёт передо мной как равная — не по положению, а по силе духа. Но эта сила стояла ей слёз, пролитых в одиночестве».

— Нас будут разыскивать, — наконец вымолвил он. — Фельдъегерь из Отрады уже добрался до Петербурга. Мамонов, стремясь выслужиться, ускорил все процедуры. Через день-два здесь могут объявиться солдаты. Императрица не прощает неповиновения — тем более брака с близкой родственницей. Это законный повод для конфискации имений, монастыря для тебя, а для меня — возможно, Сибири.

Он ожидал страха, слёз, упрёков. Но видел, как она сглотнула, и в её глазах что-то переломилось — страх сменился холодной решимостью. Это была не естественная смелость,

а защитный механизм выживания.

— Тогда нам надобно готовиться к отъезду, — произнесла она просто. — Я озабочусь провизией. Полагаю, на неделю пути. И ваши бумаги из кабинета — они вам пригодятся.

Орлов наблюдал, как она удаляется — с идеальной осанкой, собранная. Его поражала эта стремительная трансформация, но где-то в глубине души он понимал: её уверенность была щитом, за которым скрывался всё тот же испуганный ребёнок.

Спустя час, спускаясь в столовую, он услышал её голос из кухни. Но, прежде чем подойти, он отдал Ивану чёткие указания: «Проверить все подъезды к усадьбе. Выставить дозорных из местных мужиков. Подготовить запасных лошадей в трёх верстах отсюда». Старый воинский инстинкт проснулся в нём, преодолевая болезнь и усталость.

Орлов застыл в дверях, наблюдая за ней. Солнечный луч озарял её светлые волосы. Она собиралась в бегство с тем же спокойствием, с каким вчерашние петербургские дамы собирались на балы.

Внезапно она обернулась и встретилась с ним взглядом. В её очах он прочёл не страх, а решимость.

— Я приказала упаковать ваши карты, — молвила она. — Те, что с отметками походов Потёмкина в Крым. Полагаю, они могут послужить для планирования маршрута.

Вечером, разбирая бумаги в кабинете, Орлов наткнулся на старую карту Крыма — ту самую, что он составлял для

Потёмкина в 1776 году. На полях сохранились пометки императрицы: «Здесь будет русский порт», «Здесь — верфь».

Он взирал на эти знакомые штрихи и чувствовал, как прошлое настигает его. Вот оно — всё, что он создал, всё, от чего его теперь отлучили.

Вдруг он услышал лёгкие шаги. Екатерина стояла на пороге, держа в руках маленький свёрток.

— Это мои украшения, — тихо произнесла она. — Не фамильные — те тётка не отдала. А те, что вы дарили мне последние два месяца. Их можно продать в дороге. Деньги пригодятся.

Орлов смотрел на этот скромный свёрток — на всё её «богатство» — и чувствовал, как нечто сжимается в груди.

— Я не могу принять... — начал он.

— Мы отныне муж и жена, — перебила она. — А муж и жена делят всё — и радости, и беды. И украшения тоже.

Она подошла к окну, вглядываясь в темнеющий парк.

— Ведаете, я сегодня отыскала в саду засохший куст гвоздик, — промолвила она задумчиво. — Он пережил и морозы, и забвение. Стало быть, и мы сумеем.

Орлов взирал на её профиль, озарённый последними лучами заката, и впервые за долгие годы ощутил не тяжесть прошлого, а странную, горькую надежду. Они были двумя опальными душами в необъятной, враждебной империи — но впервые он не был одинок в своём изгнании, и эта мысль одновременно пугала и давала силы жить дальше.

## Глава 2. Тень Петра

Сон не был бегством. Это была капитуляция. Его сознание, этот последний оплот гордыни, повреждённый ударами, болезнью и вином, безропотно сдавалось призракам. Врачи шептались о повреждении мозга, о медленном угасании рассудка — но разве не сам он начал это угасание тридцать лет назад в Ропше?

Он мчался. Не по блестящему паркету, а по раскисшей, ухабистой дороге, петлявшей среди промокших до черноты елей. Ледяные капли хлестали в лицо, словно слёзы всей России, которую он предал. Воздух густел, превращаясь в гремячую смесь конского пота, влажной шерсти плаща и едкой, до тошноты знакомой сладости страха.

«Он не может жить, Гриша, — шептал ветер голосом Алексея. — Императрица этого не перенесёт. Дело государственное... Понял? Государственное...»

Он понял. Всегда понимал. Но сейчас, в этом ледяном кошмаре, слова звенели не оправданием, а приговором.

Соскакивая с седла, он почувствовал, как сапог с чавкающим стуком увяз в грязи. Это ощущение липкой, засасывающей земли стало прологом к тому, что ждало внутри. Головная боль, вечная спутница последних лет, пульсировала в висках в такт шагам.

Он шагал по скрипучим половицам, и каждый скрип от-

давался в висках ударами молота. Дверь была простой, потёртой, дубовой. Из-за неё доносились всхлипывания, перебегающие пьяными, бессвязными руладами. Пётр Фёдорович упражнялся на скрипке. Орлов толкнул дверь, и та с визгом отворилась, словно впуская его в преддверие ада.

В центре комнаты, у стола, заваленного объедками, стоял Он. В растёгнутом мундире Преображенского полка. Запах ударил в ноздри — дешёвый одеколон, винный перегар и непереваренный страх.

«Гриша! Брат мой! — захлебнулся Пётр. — Пустите меня к тётушке... в Голштинию...»

Орлов хотел сказать что-то твёрдое, властное, но слова застряли в горле комом жалости. Он видел только глаза — огромные, по-детски наивные, полные недоумённого ужаса. Такие же глаза были у их общего сына, Алексея Бобринского, которого он никогда не посмеет назвать своим.

Сцена дёрнулась. Они остались одни. Пётр рванулся к двери. Что-то щёлкнуло внутри Орлова — инстинкт загнанного зверя.

Тёплая, живая плоть под пальцами. Напряжение мышц. Предсмертный хрип. Он смотрел в эти глаза и видел, как ужас сменялся пустотой. Дыхание стало булькающим, прерывистым. Этот звук впился в мозг, въелся в душу.

Когда тело в его руках обмякло, лицо мёртвого Петра дрогнуло. На его месте возникло другое — с холодными, насмешливыми глазами. Екатерина.

«Грязными руками, Григорий? — прошептали её губы без звука. — Мой герой...»

Он очнулся на полу, запутавшись в мокрых простынях. Сердце колотилось, готовое разорвать рёбра. В ушах стоял тот самый хрип, смешанный с её ледяным шёпотом. На несколько ужасающих секунд он не понимал, где находится, кто он, какой сейчас год... Память возвращалась обрывками, как всегда, после сильных приступов.

— Ваше сиятельство! — Иван стоял над ним с кубком воды, его лицо выражало не только тревогу, но и привычную скорбь — он один видел, как стремительно разрушается разум его господина.

Орлов отшатнулся от его прикосновения. Он смотрел на свои дрожащие руки. Они казались липкими от невидимой крови.

— Он здесь, Иван, — прошептал он. — А сегодня... и она с ним. Смотрит и презирает.

Когда он подошёл к окну, в голове снова закружилось. Он ухватился за подоконник, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Эта забывчивость, эти провалы пугали больше любых кошмаров.

Утром явился Алексей.

— Лицо у тебя, как у вставшего из гроба. Опять твои видения? Голова мучает?»

— Гости. Незванные, но вечные, — Орлов с трудом собрал мысли в кучу.

Алексей махнул рукой:

—Брось. Прошлое похоронено. Он достал бумаги. — Опека над сиротами Зиновьевыми — дочерьми покойного генерал-майора Николая Зиновьева, нашего троюродного брата. По завещанию нам с тобой положена. Формальность, а соблюсти надо.

Григорий взял документ. Его взгляд зацепился за имя: Екатерина Николаевна Зиновьева. Восемнадцать лет. Вспомнились светлые волосы и ясные, ничем не запятнанные глаза с портрета. Его двоюродная сестра. Мысль о том, к чему его влечёт, была столь же отвратительна, сколь и неодолима.

—Девчонке пятнадцатый год, — сказал Алексей. — При дворе фрейлиной числится. Надо срочно замуж выдать, пока...

—Нет, — резко прервал его Григорий, чувствуя, как в нём вспыхивает что-то дикое, иррациональное. — Я сам разберусь.

Алексей усмехнулся, но в глазах у него мелькнула тревога:

—Неужто думаешь, тебе она достанется? Тебя самого свет на цепи держит. Или забыл, кто теперь фаворит? Он встал. —Берегись, Гриша. За ней и Потёмкин глазом поводит. Ты ему не ровня.

Когда брат ушёл, Орлов подошёл к портрету. Чистый, спокойный взгляд юной девушки словно обещал спасение. Но разве может осквернённая душа прикоснуться к чистоте, не

осквернив её? Где заканчивается искупление и начинается новое, страшное падение?

Он дёрнул за шнурок колокольчика.

—Иван! Найти все бумаги по опеке над Зиновьевыми! И... узнать, где сейчас находится девица Екатерина. Его голос дрожал, но впервые за многие месяцы в нём звучала не безнадежность, а опасная, почти безумная решимость. Он шагнул на путь, где искупление и проклятие стали неразличимы.

### Глава 3. Светская зараза

Зеркало в прихожей безмолвствовало, давая ему последний шанс отступить. Но идти было необходимо — сегодняшней приём в честь тезоименитства одного из великих князей был первым большим дворцовым событием после окончания траура. Отсутствие Орлова, всё ещё формально числящегося в списках придворных, было бы расценено как открытый вызов.

Не по зову сердца — его сердце давно превратилось в ком боли и сожалений, — а по зову долга и той призрачной надежды, что, быть может, новая эпоха найдёт для него угол в своей жёсткой, выверенной до мелочей структуре. Он вспомнил слова, сказанные Екатерине в дни их первого триумфа: «Пока я дышу, Россия будет знать, что у неё есть верный сын». Теперь дыхание давалось с трудом, а Россия, казалось, забыла о его существовании.

Иван помогал ему облачаться в парадный мундир, расшитый золотом, который когда-то сидел на его богатырских плечах как влитой, а теперь безвольно висел на осунувшемся теле. Каждое движение требовало усилий. Пальцы отказывались застёгивать мелкие пуговицы. Орлов смотрел на свои руки — эти самые руки, что обнимали императрицу и душили императора, — и видел в них лишь трясущиеся, бесполезные придатки.

— Может, не стоит, ваше сиятельство? — голос Ивана звучал приглушённо, но в нём слышалась вся боль их общих воспоминаний. — Новые порядки... Говорят, при дворе уже поговаривают об опале.

— Новые порядки, Иван? — Орлов горько усмехнулся. — Я слишком стар для новых порядков. Но слишком горд, чтобы умирать в одиночестве.

Карета медленно тащилась по заснеженной набережной. С каждым ударом колёс о булыжник в памяти всплывали иные поездки — лихие, стремительные, когда он летел во дворец к ней, и толпа расступалась перед его каретой с криками: «Орлов едет! Герой едет!» Тогда его герб на дверце означал власть, силу, приближённость к трону. Теперь он был всего лишь украшением на дверце устаревшего экипажа.

У Зимнего их карету остановили у самых ворот. Молодой офицер в неудобном, но модном при новом дворе мундире медленно сверял фамилию со списком. Его пальцы, обтянутые белыми перчатками, скользили по бумаге с театральной

медлительностью.

— Граф Орлов-Чесменский? — переспросил он, и в голосе прозвучало не просто удивление, а почти археологический интерес. — Минуту, ваше сиятельство. — Он перелистнул страницу, сверяясь с дополнительным списком. — Ваш титул... остался без изменений?

Орлов почувствовал, как кровь приливает к лицу. Эта мелкая проволочка, это уточнение были унижительнее открытой грубости. — Без изменений, — хрипло ответил он. — Пока что.

Офицер кивнул с преувеличенной почтительностью:

— Пропустить.

Орлов вошёл в галерею, и тишина встретила его — не отсутствие звуков, а их внезапное прерывание. Ропот голосов, смех, шуршание платьев — всё замерло на секунду, когда он появился в дверях, а затем возобновилось с удвоенной силой, но уже с колким, язвительным оттенком.

Вдруг перед ним выросла знакомая фигура — высокий, грузный мужчина с пронзительными глазами. Григорий Потёмкин. Фаворит, занявший его место подле императрицы.

— Граф, — Потёмкин слегка наклонил голову с убийственной вежливостью. — Какая неожиданная встреча. Мы уж думали, вы забыли дорогу во дворец.

Орлов попытался ответить, но слова застряли в горле. Он лишь кивнул, чувствуя, как ненависть и бессилие сжимают горло.

— Надеюсь, здоровье ваше поправляется? — Потёмкин поигрывал перстнем с огромным бриллиантом — подарком императрицы. — При дворе требуются сильные люди. Впрочем... — Его взгляд скользнул по дрожащей руке Орлова. — Вам, верно, нужен покой.

Орлов хрипло выдавил:

— Я служил России, когда тебя ещё на свете не было.

Потёмкин усмехнулся:

— О, мы все помним вашу службу, граф. Но времена меняются. Государыня ценит тех, кто смотрит вперёд, а не назад.

Он поднял голову и встретился взглядом с князем Безбородко. Тот стоял в стороне, с привычной невозмутимостью наблюдая за ним. Их взгляды скрестились на мгновение — и в этом мгновении Орлов увидел нечто большее, чем равнодушие: мелькнувшее узнавание, почти сочувствие, которое Безбородко сознательно и демонстративно погасил, прежде чем плавно отвести глаза и повернуться спиной.

Он попытался затеряться в толпе, но это было невозможно. Его фигура, пусть и согбенная, его лицо, пусть и изуродованное болезнью, — всё выдавало в нём того самого Орлова.

«Батюшки, да это же Григорий Орлов... — прошептали за его спиной. — Как он изменился...»

«Совесть, знаешь ли, не камень, гложет, — отозвался мужской голос. — Слышал, вчера опять в бреду был...»

Он обернулся. Молодой щёголь быстро отвернулся, делая

вид, что рассматривает фреску. Его дама смотрела на Орлова с нескрываемым любопытством, как на диковинного зверя. Ледяная волна прокатилась по спине Орлова.

В этот момент двери распахнулись: «Ее Императорское Величество!»

Он повернулся и ушёл. Орлов стоял под уничтожающими взглядами сотен глаз. Он был изгоем. Призраком, которому не было места среди живых.

Выходя на морозный воздух, он понял: единственный человек, который мог бы стать ему опорой, — та юная девушка с ясными глазами, чья чистота была таким же упрёком его душе, как и призрак задушенного императора. Но не слишком ли поздно искать спасения, когда сам стал призраком?

#### Глава 4. Луч в темноте

Решение посетить подопечных Зиновьевых родилось не из долга, а из отчаяния. Всю предыдущую ночь Орлова снова терзали кошмары о Ропше, но на этот раз к хрипу Петра Фёдоровича присоединился холодный, насмешливый голос Григория Потёмкина: «Вам, верно, нужен покой, граф». Проснувшись в липком от пота белье, он в ярости швырнул пузырёк с лауданумом. Покой? Нет, он не мог больше оставаться в этой затхлой гробнице своего дворца на Дворцовой набережной. Ему нужно было бежать. И единственным местом, куда он мог бежать, оказалось это забытое Богом име-

ние под Петербургом.

Что он искал в этом убогом уголке? Прощения? Забвения? Или просто новый способ терзать себя, поднося к своему смрадному внутреннему миру кристальную чистоту, которую был обречён лишь осквернить?

Он смотрел в запотевшее стекло кареты на проплывавшие мимо убогие деревеньки, на голые, заиндевевшие ветлы, на серое, низкое небо. Этот пейзаж был созвучен его душе — плоский, безнадежный, лишённый красок и перспектив. Он ехал не как благодетель и опекун, а как прокажённый, ищущий прикосновения здоровой кожи, чтобы вновь, хотя бы на миг, ощутить себя живым.

Внутри кареты пахло кожей, дорогим табаком и едким, сладковатым ароматом лауданума — вечным спутником его ночей. Он машинально потёр онемевшие пальцы правой руки, вспомнив, как всего час назад дрожащими пальцами разбирал бумаги по опеке. Среди них было письмо от Александра Андреевича Безбородко, написанное безупречно-холодным канцелярским слогом, уведомляющее, что «все нерешённые вопросы по опекунским делам над несовершеннолетними особами из рода Зиновьевых переходят в ведение Вашего Сиятельства, как ближайшего родственника по мужской линии».

Ближайшего родственника... Словно у него не было своих грехов, своих призраков, а был лишь этот сухой, бюрократический долг. Он сжал в кармане крошечный, истончившийся

от времени лоскуток — шёлковую перчатку Екатерины. Не Екатерины Зиновьевой, а Её. Императрицы. Его Кати. Этот лоскуток был и талисманом, и веригами, напоминая о тех днях, когда он, молодой артиллерийский офицер, впервые увидел её в Ораниенбауме — тогда ещё великую княгиню, унижаемую мужем-императором.

Карета резко качнулась, выбивая его из тягостных дум. Он с силой опёрся на трость, почувствовав знакомую, гнетущую слабость во всём теле. Ему вспомнилась другая дорога — июньская, пыльная, ведущая в Ораниенбаум в 1762 году. Тогда он скакал, молодой, сильный, сжимая в могучей руке эфес шпаги, а не эту дурацкую трость. Тогда ветер был не враждебным, а упругим, наполненным запахом скошенных трав и пороха. Тогда он вёз на трон женщину, которая станет его судьбой и проклятием. Теперь он ехал к другой — девушке, чьё имя было для него лишь строчкой в генеалогическом древе. Какое ему дело до этих сирот? Разве его собственный сын, Алексей Бобринский, не был для него таким же сиротой, которого он не смел признать?

Имение встретило его глухой тишиной, нарушаемой лишь карканьем ворон на покосившемся заборе. Въездные ворота с облупившимся гербом — два серебряных кабана в голубом поле — стояли распахнутыми, будто имение давно махнуло на себя рукой. Небольшой господский дом, некогда, должно быть, милый и уютный, стоял в глубине облетевшего сада, и его штукатурка осыпалась, словно струпья.

Его встретила на крыльце пожилая, сухая женщина в тёмном, выцветшем от времени платье — тётка-вдова, управлявшая имением после смерти брата, генерал-майора Николая Зиновьева. Её лицо, испещрённое морщинами, выражало не радость, а подобострастный ужас при виде знаменитой, одиозной фамилии.

— Граф, ваше сиятельство... мы не ждали... простите ради Бога, всё в таком беспорядке... ваша воспитанница не одета для приёма...

— Где Екатерина Николаевна? — перебил он резко, не в силах выносить этот унижительный лепет.

Женщина заморгала, растерянно указав дрожащей рукой в сторону сада:

— Прогуливается, ваше сиятельство... на пруду... читает... — Я найду дорогу сам.

Он шагал, опираясь на трость, чувствуя, как земля уходит из-под ног не только от слабости, но и от странного волнения, похожего на то, что он испытывал перед важным сражением. Он свернул на первую попавшуюся тропинку, но она привела его к заросшему пруду, возле которого стояла пустая, полуразрушенная беседка. На мгновение ему показалось, что он видит там тень — то ли Екатерины, то ли своего собственного прошлого. Раздражённый, он повернул назад, заблудившись в лабиринте из голых кустов сирени и спящих цветников. Эта беспомощность в простом деле — найти дорогу в чужом саду — злила его, напоминая о том, как беспо-

воротно ушла его сила.

Наконец, за поворотом, он увидел другой пруд — меньший, уютнее. Скромную деревянную скамью под старой, раскидистой берёзой. И на ней — она.

Он увидел её сначала в профиль: склонившуюся над книгой, укутанную в простой, тёмный плащ, из-под которого выбивались пряди волос пепельно-золотистого оттенка. Она была не ослепительно красива, как придворные красавицы, но в её чертах была та ясность и гармония, что заставляла сердце сжиматься от необъяснимой боли.

Он сделал шаг, и под его ногой с громким хрустом сломалась ветка. Она подняла голову — резко, почти испуганно. На её лице на мгновение мелькнула тень беспокойства, и она инстинктивно отодвинулась, сжимая книгу в руках. Но почти сразу же её черты успокоились, сменившись внимательным, изучающим выражением. Её спокойствие показалось ему теперь не абсолютным, а достигнутым усилием воли.

— Вы к тётушке? — спросила она. Голос у неё был негромкий, чистый, но теперь он уловил в нём лёгкую, сдерживаемую напряжённость.

Орлов почувствовал, что не может вымолвить ни слова. Ком стоял в горле. Он лишь покачал головой, не в силах отвести от неё взгляд. Внезапно, сквозь накативший стыд и благоговение, в нём вспыхнула резкая, собственническая мысль: «Взять. Забрать этот свет себе, спрятать от всех, при-

ковать к себе». Эта животная реакция испугала его ещё больше.

— Я... я ваш опекун. Григорий Орлов, — наконец выдал он, и его знаменитое имя прозвучало чужеродно в этом тихом саду.

Она медленно встала, отложив книгу.

— Я знаю. Екатерина Зиновьева. Очень приятно, Григорий Григорьевич.

Она не поклонилась, не сделала реверанс, не опустила глаз — и в этом он теперь увидел не только достоинство, но и вызов, сознательный отказ от ритуала, унижающего их обоих. Ветер донёс до него лёгкий, свежий запах яблок и сухого сена — запах её платья, запах жизни, простой и здоровой, которой для него не существовало.

Его взгляд упал на книгу.

— Вы читаете? — спросил он, чувствуя всю нелепость вопроса.

— Да. Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза», — она слегка коснулась пальцами корешка книги. В её глазах мелькнула лёгкая улыбка, но теперь она казалась ему более грустной, чем озорной.

— Меня предупреждали, что это опасная книга. В ней говорится, что истинная страсть сильнее всех условностей и даже смерти. Что чувство — единственный закон.

Слова её прозвучали для него как выстрел. «Сильнее смерти». Он смотрел на эту хрупкую девушку, цитирующую

крамольного философа, и понимал, что настоящая опасность исходит не от книг, а от этой встречи, от этой невозможной надежды, которая начинала шевелиться в его омертвевшей душе.

— А вы не боитесь опасностей? — хрипло спросил он, и в его голосе прозвучала неподдельная, горькая ирония, обращённая к самому себе.

Она посмотрела на него прямо, её взгляд будто проникал в самую глубь его души.

— Что может быть опасного в правде? Или в чувствах? А вы? Вы ведь, наверное, повидали много настоящих опасностей, Григорий Григорьевич.

Этот простой вопрос прозвучал для него как удар кинжалом. Он повидал их. Он сам был их воплощением. Внутри него снова вспыхнуло то же двойственное чувство: жажда очищения и тёмное, хищное желание обладать этой чистотой, запачкать её, сделать своей.

— Слишком много, — прошептал он, отводя взгляд. — Слишком много для одной жизни. Ему стало стыдно. Стыдно своей немощи, своего прошлого, всей грязи и крови, что он принёс с собой в этот чистый уголок, и особенно — стыдно за ту постыдную, мимолётную вспышку желания, что только что промелькнула в нём.

— Мне нужно идти, — сказал он наконец, чувствуя, что ещё мгновение — и он рухнет перед ней на колени, и всё тёмное и светлое, что в нём было, вырвется наружу в одной

невнятной, безумной исповеди.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.